

Merab Mamardashvili

CONSCIOUSNESS AND CIVILIZATION.

TEXTS AND CONVERSATIONS

Logos Publishers  
Moscow 2004

Мераб Мамардашвили

СОЗНАНИЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

ТЕКСТЫ И БЕСЕДЫ

Издательство «Логос»  
Москва 2004

Настоящее издание выпущено в рамках программы «Мозаика граждановедения» партнерства «Civitas@Russia» за счет средств гранта Департамента образования США

М 22 Мамардашвили, Мераб. Сознание и цивилизация.

Тексты и беседы. М.: Издательство "Логос", 2004, 272 с.

В настоящем издании собраны тексты, беседы, интервью и лекционные материалы М. Мамардашвили, посвященные или непосредственно связанные с анализом проблематики *гражданского общества*. Книга адресована для широкой читательской аудитории: преподавателям и учащимся, исследователям и экспертам, всем интересующимся социальной и политической проблематикой.

Интересы Е. М. Мамардашвили представляет адвокат М. Н. Старостина (адвокатское бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и Партнеры»)

ISBN 5-8163-0064-4

В оформлении обложки книги использована работа

Ф. Инфанте © из серии «Land Art» (1984)

© Е. М. Мамардашвили, 2004.

© М. Рыклин – статья, 2004.

© Е. Беляков – статья, 2004.

© Издательство «Логос» (Москва) – оформление, составление, 2004.

ТЕКСТЫ

Сознание и цивилизация (1984)	9
Европейская ответственность (1988)	26
Мысль в культуре (1989)	30
«Третье» состояние (1989)	44
О гражданском обществе (1989?)	54

БЕСЕДЫ

Философия – это сознание вслух (1988)	87
Если осмелиться быть (1988)	104
Философия действительности (1989)	137
«Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно...» (1989)	149
Гражданское общество (1989)	167
Другое небо (1989)	179

Приложение I:

Медиум, или Всеобщее чувствилище (1967)	203
«Мой опыт нетипичен» (1988)	207
Жизнь шпиона (1990)	217
Вольномыслие (Материалы «круглого стола») (1990)	235

Примечания

251

Приложение II:

Рыклин М. Сознание как пространство свободы	259
Беляков Е. От издателя	268

[1988]

— Как Вы думаете, Мераб Константинович, что с нами происходит, что с нашим обществом? Почему мы, победив в такой войне, как Отечественная, с трудом справляемся сегодня с нашими собственными мирными проблемами? Не произошло ли в послевоенный период определенное снижение уровня культуры?

— В каком-то смысле это несомненно. Только не думаю, что это напрямую связано с войной. Здесь не прямая связь культуры с войной, а, на мой взгляд, связь с ней через феномен личности. Ведь смотрите: непосредственно после войны культура пополнялась людьми более интересными, чем сейчас. Почему? Да потому, что это были люди, опаленные войной, осмелившиеся самостоятельно, на свой собственный страх и риск *быть* перед лицом уничтожения и порабощения. **Огнем дышали два дракона: один — в лицо, другой — в спину.** И вот так вот опалившись, люди обрели одну характеристику — совершенно четкое очертанный и выраженный личностный хребет. А последующие поколения, молодежь... Я не вижу у них как раз того личностного хребта, той туго натянутой струны духа и характера, которые были у военного поколения. Они, может быть, и умнее, начитаннее, свободнее, более раскованы и, уж во всяком случае, более мобильны. Мы в свое время и мечтать не могли о тех достижениях НТР, которые сегодня доступны, например, любому студенту, о таком количестве книг, информации. Да и контакты у них разнообразнее. И вкус есть. Словом, заинтересованную молодежь можно увидеть везде, где можно получить какой-то интеллектуальный и нравственный заряд. Но беда в том, что все это носит, в основном, потребительский характер: молодежь не работает. А что такое работа, любая действительная работа? Это самостоятельность, ответственность, риск и готовность за все платить. Работа вообще — взрослое дело. Неработающий, в этом смысле, — ребенок, он инфантилен.

Но дело в том — и я к этому веду, — что такая «проблема молодежи» есть, в действительности, проблема общества, как оно сложилось в послевоенный период, т. е. проблема взрослых. Проблема их инфантильности. Общество-то за это время успело сползти в онемение, в

некий цепенящий абсурд. Откуда молодым людям быть личностями и уметь работать, если социальное омертвление и анемия лишили их интенсивной и полной жизни? Нам-то службу «взросления» со служила война. А как молодым открывать себя и свою судьбу, если это можно сделать только на *своих собственных испытаниях*?

— То есть *взрослеть*!?

— Да, конечно. Но я хочу сказать, что этого не может быть без открытого и граждански защищенного поля свободного движения, **о котором никто заранее или извне не может знать, для чего оно и к чему.** Без свободного прохождения человеком этого оставляемого ему люфта не может быть личности. Это очевидно. Ведь личность — это форма и способ бытия, особое состояние жизни, находка ее эволюции. Я бы сказал так, что **личность — это «крупная мысль природы».** Самонастраиваемость ее проявлений не зависит от всезнания или каких-либо высших ориентиров. В этом все дело в определении культуры. Сказал ведь один умный человек, что культура — это то, что остается после того, как ты все забыл. То есть она именно живая! Понимаете, феномен личности не менее таинствен, чем, например, такие великие находки эволюции, как лист растения, локаторное устройство у летучей мыши, глаз человека, копыто лошади, или такие формы в технике и общественной жизни, как колесо, архитектурный купольный свод, наша и национальный язык, правовое общественное состояние, крестьянская семья и т. п. В этом смысле одинаково, я думаю, можно говорить как о личной культуре, так и о культуре земледелия, культуре генетических форм и вообще всего живого и свято оберегаемого (т. е. почитаемого в смысле «культы», от которого, кстати говоря, и происходит слово «культура»).

Таким образом, под культурой я понимаю определенность *формы*, в которой люди способны (и готовы) на деле практиковать *сложность*. Культура для меня есть нечто необратимое, что нельзя ничем (в том числе и знанием, умом, логикой) заменить или возместить, если ее нет. Но ее можно легко разрушить. Например, закрыв люфт граждански защищенного поля свободного действия, о котором мы говорим, и оказавшись, тем самым, в мире исторического бессилия. Или, если угодно, в до-историческом и до-ценностном мире.

Поэтому, возвращаясь к ранее сказанному, я могу утверждать, что молодые люди лишены чувства исторической традиции и ответственности еще и потому, что у них нет даже возможности выбора, решения. Поскольку выбор-то (в смысле: «жизнь моя, а вместе с ней и весь мир здесь решается») делается всегда в лоне предшествующих образцов *поступков* – а никто вокруг или до тебя никак не поступал. Так что? Жить на общественном и моральном иждивении или, еще хуже того, молодым и старым вместе, в тщательно огороженном закутке бесформенного райского бытия, в параллельной реальности?! А первой (и единственной) реальности погружаться, как Атлантида, на дно? Это и есть инфантилизм, вернее, состояние переростков. В нем нет способности (или культуры) *практикуемой сложности*. Нет форм, которыми люди владели бы и которыми их собственные состояния доводились бы до ясного и полного выражения своей природы и возможности и оказывались бы историческим событием, поступком.

Естественно, что в сложном XX веке инфантилизму нет места: он ему не соприроден и принципиально чужд. Он удобен, может быть, только для текущих задач близорукой власти, равнодушной к дальним целям культуры, национальной истории и государственности. Действительно, пора мыслить по-новому, что равнозначно, видимо, тому, чтобы просто мыслить.

– И Вы считаете, что инфантилизм преодолим?

– В определенном смысле – да. Но при условии, что все будет лодумываться и проговариваться до конца.

Опасность здесь тем более серьезная, что в самой основе российской государственности уже был заложен отказ от внутреннего развития в пользу развития внешнего, экстенсивного. Как известно, в свое время Петр I сделал рабство фундаментом бурного расцвета экономики страны и ее государственной мощи. В то же время он требовал от людей, «уложенных в основание пирамиды», проявлений изобретательности и инициативы, чудес предприимчивости. Он действительно, видимо, ожидал этого от них, не замечая в этом явное противоречие. В эпоху Петра I (и затем все больше) Россия достигла многого из того, к чему сама не была готова. А когда государство и его военная и экономическая мощь опережают общество и культуру (в том числе и культурное дей-

ствие в экономике), за это всегда рано или поздно приходится расплачиваться. Расплачиваться за отставание внутреннего развития, «состоятельности» людей, личностей, за пренебрежение ко всякому правосознанию и частному правопорядку, в том числе и к *недвижимому порядку* «Я мыслю и не могу иначе». То есть ко всякому существованию из собственного убеждения. И свободные люди это понимали. Поэтому, например, когда Пушкин, изначально раненный в сердце стрелой совсем не «татарской древней воли», представлял царю нечто вроде «предупредительной» записки «О народном воспитании», он имел в виду не просвещение в смысле распространения суммы позитивных знаний (достигнутых на данный момент), а распространение и размножение *живых и автономных очагов действия и воплощенного существования*. Имел в виду «воспитание историй» (молчаливо, тем самым, принимая чаадаевскую дилемму «историческое – неисторическое» в применении к русской жизни).

Напомню старое определение действительной природы Просвещения. Просвещение – это «взрослое состояние» человечества, т. е. способность людей думать своим умом и ориентироваться без внешних наставников и авторитетов, не ходить «на помочах». Между прочим, эта проблема культуры (т. е. внутреннего развития) относится и к технической мощи страны, к ее техническому потенциалу и вооруженности. Мы часто теряем представление о том, какой богатый и сложный мир идей, моральных и гражданских навыков, внутренней развитости стоит за теми техническими новинками и достижениями, которые мы наблюдаем у соседей, на Западе. И думаем воспользоваться ими как внешними, готовыми продуктами. Или думаем, что это просто и есть техника, и мы, следовательно, можем сами. Но даже «просто техника», как это ни парадоксально, всегда является продуктом культуры, духовного зерна. Культурное сознание неделимо и, как уже замечено в литературе, не может один и тот же мозг, который в своих собственных гражданских, нравственных и социальных делах оказывается недорослем, дитем малым, вдруг взять и в физических науках, в сложнейшей технике и т. п. проявить чудеса изобретательности, самостоятельности и отвлеченного интеллектуального мужества. Посмотрите, когда естественным образом иссяк человеческий мате-



риал (я имею в виду интеллектуальный и моральный тип ученого, инженера и т. д.), унаследованный от довоенных и военных лет, какая ситуация сложилась в теоретической физике, в современной технике, в генетической биологии и медицине? Дополнительным доказательством этому служат и многочисленные неудачи механического переноса разных технических новинок из одной страны в другую. Мы часто по-обезьяньи копируем что-то, а потом это все у нас ломается, выходит из строя, проставляет или вообще оказывается какой-то неподвижной потусторонностью в наших условиях (как, например, компьютеры). Между тем это закономерно и понятно, ибо мы берем только сами вещи, но не то, что за ними стоит. Мы отнимаем их от духовного зерна, их родившего, оказавшись сами вне его и его человеческих условий. Можно взять все технические достижения — и ничего из этого не получится.

*— Но, очевидно, здесь есть какие-то более широкие процессы, затрагивающие причины того или иного уровня культуры и творчества?*

— Так оно и есть, на мой взгляд. Конечно, жизнь вольна и спонтанна, дух веет там, где хочет, и цветок жизни пробьёт даже асфальт. Был ведь Пушкин, и сейчас есть и будут изобретатели, сыны и носители гармоний. Но это не может быть принципом организации жизни. Не может быть школы «гения чистой красоты» и красоты свободы, школой может быть лишь открытая школа исторического существования. А если в стране, уже как бы и привычно, вынужденно устанавливается подпольная и контрабандная форма существования культуры (в том числе и экономической), то само по себе это тоже несомненный признак снижения и упадка культуры, ее малой продуктивности. Ибо культура всегда публична, ее всепространственность и повсевременность, по определению, всегда открыто представлена на том, что греки называли «агорой» («рыночной площадью»). В нишах и подвалах не может ничего возникать, кроме вторичного (я говорю, конечно, о принципе, а не об исключениях) или призрачного, только в ненаступившем, но окончательном будущем полагаемого. Так — многозначительный туман, воспарения... Все или прошлое, или будущее — и ничего в настоящем. Культура же, т. е. вечность в настоящем, в существующем, нуждается в открытом пространстве и свободном слове. Это, очевидно, «врожденное» свойство культуры: она

не может органично и жизненно полноценно расти в подполье, в глухой, не связанной словом (или, если угодно, «все-словом») жизни. Живые токи коммуникации должны быть!

И посмотрите, насколько отсутствие этой дополнительной, культурной продуктивности отражается на самих возможностях нашего общественного самосознания и даже просто осмысленности слов, терминов. Например, мы говорим о молодежи и употребляем слова «поколение», «традиция», а ведь по сути дела это незаконно. Чтобы эти термины имели смысл и работали в общественном самосознании, недостаточно, чтобы физические существовали молодые люди и их проблемы. Нужно, чтобы нити между ними (формальными организациями и информацией как раз перерезанные) сходились в каком-то связанном пространстве, в котором люди могли бы открыто отображать себя и свои проблемы и в котором они могли бы осознать себя как «поколение», способное быть органом развития реальных проблем и состояний. А на деле между одной мыслью и другой — тысячи километров расстояния (скажем, между юношей в Риге и во Владивостоке), и каждая у себя атомизирована. И в итоге, как бы существуя, эта мысль не существует. То, что какой-то внешний наблюдатель может их идентифицировать, не имеет никакого значения. А сами молодые сегодня чаще всего встречаются не в том пространстве, о котором я говорил, а, например, в дискотеках (особенно в провинции), на своего рода коллективных радениях, которые есть лишь перевернутый образ наших митингов 30-х годов, на деле разобивавших людей в том, что действительно есть. Я никаких претензий (тем более высококолых) не имею ни к дискотекам, ни к тому, во что одеваются, ни к тому, что поют, ни к тому, как общаются. Я говорю совершенно о другом. Я говорю об органе развития, существование которого, с одной стороны, делало бы осмысленными термины описания, а с другой — служило бы артикуляцией и движению того, что действительно есть. Иначе просто глухая жизнь, как бы громко ни звучал рок.

То, о чем я говорю, скажется, конечно, и на традиционной связи учитель — ученик, потому что неясно, чем может помочь и что вообще может сказать в этих условиях, скажем, ученый, философ молодым коллегам, студентам, слушателям. Или вообще ищущим. Конечно, сегодня так же, как и в прошлом, нельзя спе-

циально вырастить кого бы то ни было. Самая лучшая передача знаний случается тогда, когда учитель не занимается педагогикой, ничему сам специально не учит, а является молчаливым примером. Но душевная смута именно здесь и возникает. Я понимаю, почему, например, у Бахтина не было учеников. И дело даже не в том, что он как ученый занимался такими предметами, которые просто очень трудно передать, поделиться с другими. Дело в том, что каждый из нас оказывается часто в ситуации, когда нужно что-то по своему опыту посоветовать молодому человеку, — и вдруг такой совет невозможно дать. И вот по какой причине: то, что можно мне, нельзя ему. И у меня нет, следовательно, морального права на это. Думаю, Бахтин хорошо понимал эту ситуацию. Он всю жизнь не уставал работать «в стол», он знал, что «есть для избранных годы молчания...» Но что это? Молчаливый пример, что таланты «подвальной» культуры все-таки пробиваются, что «рукописи не горят»? Да это было бы чистейшим лицемерием! Бахтин реализовал идеал молчания, изгнанничества и мастерства. Но призывать к этому же своих поклонников или возможных учеников он не мог. Не только потому, что это не так просто — для работы «в стол» нужны мужество и терпение, особая моральная закалка, — но и потому, что для этого нужна особая экстерриториальность собственного положения — завоеванная и выстраданная. Молодым людям эти столы могут просто вламывать. Я вспоминаю Августина, который только с ужасом мог подумать о возможности снова оказаться молодым. И я, например, тоже не хочу, чтобы мне сейчас было снова семнадцать лет...

— *А Вы не боялись писать «в стол»?*

— Я не пишу «в стол», жизнь моя сложилась иначе. И у меня не только полностью отсутствует какое-либо сознание преследуемости, но и само сознание писания «в стол». Я не знаю, как это объяснить. Если накапливаются рукописи, то мне кажется, что я просто плохо пишу или бессиден выразить мысль до конца. Кроме того, я всегда стремился выговаривать свои мысли в лекциях или докладах. И если здесь что-то «не проходило», то, наверное, из-за отсутствия у меня способности говорить просто и ясно. Но я имею в виду именно акт, поступок мысли. Хотя это может быть никогда не опубликовано. Но это другой вопрос. Дело же самовыполняется

и самоисчерпывается в том акте, который ты совершаешь. У Эйнштейна как-то спросили, как ему в голову приходят идеи. Он рассмеялся и сказал, что дай Бог, если за всю жизнь ему пришлось в голову хотя бы полторы идеи. Но если это случилось, если полторы идеи все-таки выстраданы, человек как бы самовосполняется.

— *Ну, хорошо, а что делать автору действительно талантливой книжки, если она по каким-то причинам не идет в печать? «Пробивать» ее или же лучше не суетиться («служение муз не терпит суеты») и ждать своего часа в надежде, что человечество образумится и книга, если это и в самом деле серьезная работа, сама пробьет себе дорогу?*

— Молодому человеку я, безусловно, не советовал бы пробивать свой труд, потому что это было бы — пробивать заодно и себя. Для молодого человека такое пробивание не может не выродиться в сутяжничество. А акт мысли, акт написания книги мне кажется воплощением целомудрия. В человеке творящем всегда есть какая-то особая сдержанность по отношению к вдруг удавшейся мысли, образу, целому и т. д. Можно, конечно, как однажды Пушкин, воскликнуть: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Это другое. Это почти что физиологическое здоровое выражение творческого акта: разродился — и вот ощущение блаженной пустоты. Но это не положение, при котором Пушкин мог бы, например, просить аудиенции у государя императора и, положив, что-то «свое» пробивать в печать. В XIX в. даже сама такая мысль не могла возникнуть. Ни у кого — ни у Пушкина, ни у Лермонтова, разве что у Булгарина. А сейчас подобное «хождение наверх» стало чуть ли не общепринятым правилом. Пушкина же, например, схваченного в двойной пресс своего рода сговора между царем наверху и массами во главе с Булгариним внизу, заботил гражданский вопрос: неужели мы, аристократы, существуя, не можем иметь свой журнал?

Такая вот разница...

— *А если книжка не печатается только потому, что точка зрения автора не подходит или просто не нужна людям из издательства, библиотечески отстаивающим какие-то собственные корыстные интересы в литературе? Если книжка им, так сказать, заочно не нужна и барьеры, которые возникают на ее пути в печать, есть не что иное, как сведение старых литературных счетов...*

— Здесь трудно ответить. Все это есть, конечно. И тут нет ника-